

Сказка Г.Х. Андерсена " Калоши счастья "

1. Начало

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади. В одном доме собралось большое общество – иногда ведь приходится все–таки принимать гостей; зато, глядишь, и сам дожدهшься когда–нибудь приглашения. Гости разбились на две большие группы: одна немедленно засела за ломберные столы, другая же образовала кружок вокруг хозяйки, которая предложила "придумать что–нибудь поинтереснее", и беседа потекла сама собой. Между прочим, речь зашла про средние века, и многие находили, что в те времена жилось гораздо лучше, чем теперь. Да, да! Советник юстиции Кнап отстаивал это мнение так рьяно, что хозяйка тут же с ним согласилась, и они вдвоем накнулись на бедного Эрстеда, который доказывал в своей статье в "Альманахе", что наша эпоха кое в чем все–таки выше средневековья. Советник утверждал, что времена короля Ганса были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества.

Пока ведется этот жаркий спор, который прервался лишь на мгновение, когда принесли вечернюю газету (впрочем, читать в ней было решительно нечего), пройдем в переднюю, где гости оставили свои пальто, палки, зонтики и калоши. Сюда только что вошли две женщины: молодая и старая. На первый взгляд их можно было принять за горничных, сопровождающих каких–нибудь старых барынь, которые пришли сюда в гости, но, приглядевшись повнимательнее, вы бы заметили, что эти женщины ничуть не похожи на служанок: слишком уж мягки и нежны были у них руки, слишком величавы осанка и движения, а платье отличалось каким–то особо смелым покроем. Вы, конечно, уже догадались, что это были феи. Младшая была если и не самой феей Счастья, то, уж наверно, камеристкой одной из ее многочисленных камер–фрейлин и занималась тем, что приносила людям разные мелкие дары Счастья. Старшая казалась гораздо более серьезной – она была феей Печали и всегда управлялась со своими делами сама, не поручая их никому: так, по крайней мере, она знала, что все наверняка будет сделано как следует.

Стоя в передней, они рассказывали друг другу о том, где побывали за день. Камеристка камер–фрейлины Счастья сегодня выполнила всего лишь несколько маловажных поручений: спасла от ливня чью–то новую шляпу, передала одному почтенному человеку поклон от высокопоставленного ничтожества и все в том же духе. Но зато в запасе у нее осталось нечто совершенно необыкновенное.

– Нужно тебе сказать, – закончила она, – что у меня сегодня день рождения, и в честь этого события мне дали пару калош, с тем чтобы я отнесла их людям. Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место или в обстановку любой эпохи – куда он только пожелает, – и он, таким образом, сразу обретет счастье.

– Ты так думаешь? – отозвалась фея Печали. – Знай же: он будет самым несчастным человеком на земле и благословит ту минуту, когда наконец избавится от твоих калош.

– Ну, это мы еще посмотрим! – проговорила камеристка Счастья. – А пока что я поставлю их у дверей. Авось кто–нибудь их наденет по ошибке вместо своих и станет счастливым.

Вот какой между ними произошел разговор.

2. Что произошло с советником юстиции

Было уже поздно. Советник юстиции Кнап собирался домой, все еще размышляя о временах короля Ганса. И надо же было так случиться, чтобы вместо своих калош он надел калоши Счастья. Как только он вышел в них на улицу, волшебная сила калош немедленно перенесла его во времена короля Ганса, и ноги его тотчас же утонули в непролазной грязи, потому что при короле Гансе улиц не мостили.

– Ну и грязь! Просто ужас что такое! – пробормотал советник. – И к тому же ни один фонарь не горит.

Луна еще не взошла, стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На углу перед изображением мадонны висела лампада, но она чуть теплилась, так что советник заметил картину, лишь поравнявшись с нею, и только тогда разглядел божью мать с младенцем на руках.

"Здесь, наверно, была мастерская художника, – решил он, – а вывеску позабыли убрать".

Тут мимо него прошло несколько человек в средневековых костюмах. "Чего это они так вырядились? – подумал советник. – Должно быть, с маскарада идут".

Но внезапно послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, и взорам советника представилось удивительное зрелище! Навстречу ему по улице двигалась странная процессия: впереди шли барабанщики, искусно выбивая дробь палочками, а за ними шагали стражники с луками и арбалетами. По–видимому, то была свита, сопровождавшая какое–то важное духовное лицо. Изумленный советник спросил, что это за шествие и кто этот сановник.

– Епископ Зеландский! – послышалось в ответ.

– Господи помилуй! Что еще такое приключилось с епископом? – вздохнул советник Кнап, грустно покачивая головой. – Нет, вряд ли это епископ.

Размышляя обо всех этих чудесах и не глядя по сторонам, советник медленно шел по Восточной улице, пока наконец не добрался до площади Высокого моста. Однако моста, ведущего к Дворцовой площади, на месте не оказалось, – бедный советник едва разглядел в кромешной тьме какую–то речонку и в конце концов заметил лодку, в которой сидело двое парней.

– Прикажете переправить вас на остров? – спросили они.

– На остров? – переспросил советник, не зная еще, что он теперь живет во время средневековья. – Мне нужно попасть в Христианову гавань, на Малую торговую улицу.

Парни вытаращили на него глаза.

– Скажите хотя бы, где мост? – продолжал советник. – Ну что за безобразие! Фонари не горят, а грязь такая, что кажется, будто по болоту бродишь!

Но чем больше он говорил с перевозчиками, тем меньше мог разобраться в чем–нибудь.

– Не понимаю я вашей борнхольмской тарабарщины! – рассердился он наконец и повернулся к ним спиной.

Но моста он все–таки не нашел; каменный парапет набережной исчез тоже. "Что делается! Вот безобразие!" – думал он. Да, никогда еще действительность не казалась ему такой жалкой и мерзкой, как в этот вечер. "Нет, лучше взять извозчика, – решил он. – Но, господи, куда же они все запропастились? Как назло, ни одного! Вернусь–ка я на Новую королевскую площадь – там, наверно, стоят экипажи, а то мне вовек не добраться до Христианской гавани!"

Он снова вернулся на Восточную улицу и успел уже пройти ее почти всю, когда взошла луна.

"Господи, что это здесь понастроили такое?" – изумился советник, увидев перед собой Восточные городские ворота, которые в те далекие времена стояли в конце Восточной улицы.

Наконец он отыскал калитку и вышел на теперешнюю Новую королевскую площадь, которая в те времена была просто большим лугом. На лугу там и сям торчали кусты, и он был пересечен не то широким каналом, не то рекой. На противоположном берегу расположились жалкие лавчонки халландских шкиперов, отчего место это называлось Халландской высотой.

– Боже мой! Или это мираж, фата–моргана, или я... господи... пьян? – застонал советник юстиции. – Что же это такое? Что же это такое?

И советник опять повернул назад, подумав, что заболел. Шагая по улице, он теперь внимательнее приглядывался к домам и заметил, что все они старинной постройки и многие крыты соломой.

– Да, конечно, я заболел, – вздыхал он, – а ведь всего–то стаканчик пунша выпил, но мне и это повредило. И надо же додуматься – угощать гостей пуншем и горячей лососиной! Нет, я непременно поговорю об этом с агентшей. Вернуться разве к ним и рассказать, какая со мной приключилась беда? Нет, неудобно. Да они, уж пожалуй, давно спать улеглись.

Он стал искать дом одних своих знакомых, но его тоже не оказалось на месте.

– Нет, это просто бред какой–то! Не узнаю Восточной улицы. Ни одного магазина! Все только старые, жалкие лачуги – можно подумать, что я попал в Роскилле или Рингстед. Да, плохо мое дело! Ну что уж тут стесняться, вернусь к агенту! Но, черт возьми, как мне найти его дом? Я больше не узнаю его. Ага, здесь, кажется, еще не спят!... Ах, я совсем расхворался, совсем расхворался.

Он наткнулся на полуоткрытую дверь, из–за которой лился свет. Это был один из тех старинных трактиров, которые походили на теперешние наши пивные. Общая комната напоминала голштинскую харчевню. В ней сидело несколько завсегдатаев – шкипера, копенгагенские бюргеры и еще какие–то люди, с виду ученые. Попивая пиво из кружек, они вели какой–то жаркий спор и не обратили ни малейшего внимания на нового посетителя.

– Простите, – сказал советник подошедшей к нему хозяйке, – мне вдруг стало дурно. Вы не достанете мне извозчика? Я живу в

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

Христианской гавани.

Хозяйка посмотрела на него и грустно покачала головой, потом что-то сказала по-немецки. Советник подумал, что она плохо понимает по-датски, и повторил свою просьбу на немецком языке. Хозяйка уже заметила, что посетитель одет как-то странно, а теперь, услышав немецкую речь, окончательно убедилась в том, что перед ней иностранец. Решив, что он плохо себя чувствует, она принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и задумался: куда же все-таки он попал?

– Это вечерний "День"? – спросил он чтобы сказать что-нибудь, увидев, как хозяйка убирает большой лист бумаги.

Она его не поняла, но все-таки протянула ему лист: это была старинная гравюра, изображавшая странное свечение неба, которое однажды наблюдали в Кельне.

– Антикварная картина! – сказал советник, увидев гравюру, и сразу оживился. – Где вы достали эту редкость? Очень, очень интересно, хотя и сплошная выдумка. На самом деле это было просто северное сияние, как объясняют теперь ученые; и, вероятно, подобные явления вызываются электричеством.

Те, что сидели близко и слышали его слова, посмотрели на него с уважением; один человек даже встал, почтительно снял шляпу и сказал с самым серьезным видом:

– Вы, очевидно, крупный ученый, мосье?

– О нет, – ответил советник, – просто я могу поговорить о том о сем, как и всякий другой.

– Modestial (скромность(лат.)) – прекраснейшая добродетель, – изрек его собеседник. – Впрочем, о сути вашего высказывания mihi secus videtur (я другого мнения (лат.)), хотя и с удовольствием воздержусь пока высказывать мое собственное iudicium (суждение (лат.)).

– Осмелюсь спросить, с кем имею удовольствие беседовать? – осведомился советник.

– Я бакалавр богословия, – ответил тот.

Эти слова все объяснили советнику – незнакомец был одет в соответствии со своим ученым званием. "Должно быть, это какой-то старый сельский учитель, – подумал он, – человек не от мира сего, каких еще можно встретить в отдаленных уголках Ютландии".

– Здесь, конечно, не locus docendi (место ученых бесед (лат.)), – говорил богослов, – но я все-таки очень прошу вас продолжать свою речь. Вы, конечно, весьма начитаны в древней литературе?

– О да! Вы правы, я частенько-таки прочитываю древних авторов, то есть все их хорошие произведения; но очень люблю и новейшую литературу, только не "Обыкновенные истории" (намек на "Обыкновенные истории" датской писательницы Гюллембург); их хватает и в жизни.

– Обыкновенные истории? – переспросил богослов.

– Да, я говорю об этих новых романах, которых столько теперь выходит.

– О, они очень остроумны и пользуются успехом при дворе, – улыбнулся бакалавр. – Король особенно любит романы об Ифвенте и Гаудиане, в которых рассказывается о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, и даже изволил шутить по этому поводу со своими приближенными (Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей "Истории Датского государства", что, прочитав роман о рыцарях Круглого стола, король Ганс однажды сказал в шутку своему приближенному Отто Руду, которого очень любил: "Эти господа Ифвент и Гаудиан, о которых говорится в этой книге, были замечательные рыцари. Таких теперь больше не встретишь". На что Отто Руд ответил: "Если бы теперь встречались такие короли, как король Артур, то, наверное, нашлось бы немало таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан". (Примечание Андерсена.)).

– Этих романов я еще не читал, – сказал советник юстиции. – Должно быть, это Хейберг что-нибудь новое выпустил?

– Нет, что вы, не Хейберг, а Готфред фон Гемен, – ответил бакалавр.

– Так вот кто автор! – воскликнул советник. – Какое древнее имя! Ведь это наш первый датский книгопечатник, не так ли?

– Да, он наш первопечатник! – подтвердил богослов.

Таким образом, пока что все шло прекрасно. Когда один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей здесь несколько лет назад, а именно в 1484 году, советник подумал, что речь идет о недавней эпидемии холеры, и разговор благополучно продолжался. А после как было не вспомнить окончившуюся совсем недавно пиратскую войну 1490 года, когда английские каперы захватили стоящие на рейде датские корабли. Тут советник, вспомнив о событиях 1801 года, охотно присоединил свой голос к общим нападкам на англичан. Но дальше разговор что-то перестал клеиться и все чаще прерывался гробовой тишиной.

Добрый бакалавр был очень уж невежественный: самые простые суждения советника казались ему чем-то необычайно смелым и фантастичным. Собеседники смотрели друг на друга со все возрастающим недоумением, и, когда наконец окончательно перестали понимать один другого, бакалавр, пытаясь поправить дело, заговорил по-латыни, но это мало помогло.

– Ну, как вы себя чувствуете? – спросила хозяйка, потянув советника за рукав.

Тут он опомнился и в изумлении воззрился на своих собеседников, потому что за разговором совсем забыл, что с ним происходит.

"Господи, где я?" – подумал он, и при одной мысли об этом у него закружилась голова.

– Давайте пить кларет, мед и бременское пиво! – закричал один из гостей. – И вы с нами!

Вошли две девушки, одна из них была в двухцветном чепчике (при короле Гансе, в 1495 году, был выпущен указ, по которому женщины легкого поведения должны носить чепчики бросающейся в глаза расцветки); они подливали гостям вино и низко приседали. У советника даже мурашки забегали по спине.

– Что же это такое? Что это такое? – шептал он, но вынужден был пить вместе со всеми. Событьи́льники так на него насели, что бедный советник пришел в совершенное смятение, и когда кто-то сказал, что он, должно быть, пьян, ничуть в этом не усомнился и только попросил, чтобы ему наняли извозчика. Но все подумали, что он говорит по-московитски. Никогда в жизни советник не попадал в такую грубую и неотесанную компанию. "Можно подумать, – говорил он себе, – что мы вернулись ко временам язычества. Нет, это ужаснейшая минута в моей жизни!"

Тут ему пришло в голову: а что, если залезть под стол, подползти к двери и улизнуть? Но когда он был уже почти у цели, гуляки заметили, куда он ползет, и схватили его за ноги. К счастью, калоши свалились у него с ног, а с ними рассеялось и волшебство.

При ярком свете фонаря советник отчетливо увидел большой дом, стоявший прямо перед ним. Он узнал и этот дом и все соседние, узнал и Восточную улицу. Сам он лежал на тротуаре, упираясь ногами в чьи-то ворота, а рядом сидел ночной сторож, спавший крепким сном.

– Господи! Значит, я заснул прямо на улице, вот тебе и на! – сказал советник. – Да, вот и Восточная улица... Как светло и красиво! Но кто бы мог подумать, что один стакан пунша подействует на меня так сильно!

Спустя две минуты советник уже ехал на извозчике в Христианову гавань. Всю дорогу он вспоминал пережитые им ужасы и от всего сердца благословлял счастливую действительность и свой век, который, несмотря на все его пороки и недостатки, все-таки был лучше того, в котором ему только что довелось побывать. И надо сказать, что на этот раз советник юстиции мыслил вполне разумно.

3. Приключения сторожа

– Гм, кто-то оставил здесь свои калоши! – сказал сторож. – Это, наверно, лейтенант, что живет наверху. Вот ведь какой, бросил их у самых ворот!

Честный сторож, конечно, хотел было немедленно позвонить и отдать калоши их законному владельцу, тем более что у лейтенанта еще горел свет, – но побоялся разбудить соседей.

– Ну и тепло, должно быть, ходить в таких калошах! – сказал сторож. – А кожа до чего мягкая!

Калоши пришлось ему как раз впору.

– И ведь как странно устроен мир, – продолжал он. – Взять хотя бы этого лейтенанта: мог бы сейчас преспокойно спать в теплой постели, – так нет же, всю ночь шагает взад и вперед по комнате. Вот кому счастье! Нет у него ни жены, ни детей, ни тревог, ни забот; каждый вечер по гостям разъезжает. Хорошо бы мне поменяться с ним местами: я тогда стал бы самым счастливым человеком на земле!

Не успел он это подумать, как волшебной силой калош мгновенно перевоплотился в того офицера, что жил наверху. Теперь он стоял посреди комнаты, держа в руках листок розовой бумаги со стихами, которые написал сам лейтенант. Да и к кому иной раз не является поэтическое вдохновение! Вот тогда-то мысли и выливаются в стихи. На розовом листке было написано следующее:

Будь я богат

"Будь я богат, – мальчишкой я мечтал, –

Я непременно б офицером стал,

Носил бы форму, саблю и плюмаж!"

Но оказалось, что мечты – мираж.

Шли годы – эполеты я надел,

Но, к сожаленью, бедность – мой удел.

Веселым мальчиком, в вечерний час,

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

Когда, ты помнишь, я бывал у вас,
Тебя я детской сказкой забавлял,
Что составляло весь мой капитал.
Ты удивлялась, милое дитя,
И целовала губы мне шутя.
Будь я богат, я б и сейчас мечтал
О той, что безвозвратно потерял...
Она теперь красива и умна,
Но до сих пор сума моя бедна,
А сказки не заменят капитал,
Которого всевышний мне не дал.
Будь я богат, я б горечи не знал
И на бумаге скорбь не изливал,
Но в эти строки душу я вложил
И посвятил их той, которую любил.
В стихи мои вложил я пыл любви!
Бедняк я. Бог тебя благослови!

Да, влюбленные вечно пишут подобные стихи, но люди благоразумные их все-таки не печатают. Чин лейтенанта, любовь и бедность – вот злополучный треугольник, или, вернее, треугольная половина игровой кости, брошенной на счастье и расколовшейся. Так думал лейтенант, опустив голову на подоконник и тяжело вздыхая:

"Бедняк сторож и тот счастливее, чем я. Он не знает моих мучений. У него есть домашний очаг, а жена и дети делят с ним и радость и горе. Ах, как бы мне хотелось быть на его месте, ведь он гораздо счастливее меня!"

И в этот же миг ночной сторож снова стал ночным сторожем: ведь офицером он сделался лишь благодаря калошам, но, как мы видели, не стал от этого счастливее и захотел вернуться в свое прежнее состояние. Итак, ночной сторож опять сделался ночным сторожем.

"Какой скверный сон мне приснился! – сказал он. – А впрочем, довольно забавный. Приснилось мне, что я стал тем самым лейтенантом, который живет у нас наверху, – и до чего же скучно он живет! Как мне не хватало жены и ребятишек: кто-кто, а они всегда готовы зацеловать меня до смерти".

Ночной сторож сидел на прежнем месте и кивал в такт своим мыслям. Сон никак не выходил у него из головы, а на ногах все еще были надеты калоши счастья. По небу покати́лась звезда.

"Ишь как покати́лась, – сказал себе сторож. – Ну ничего, их там еще много осталось, – А хорошо бы увидеть поближе все эти небесные штуковины. Особенно луну: она не то что звезда, меж пальцев не проскользнет. Студент, которому моя жена белье стирает, говорит, что после смерти мы будем перелетать с одной звезды на другую. Это, конечно, вранье, а все же как было бы интересно этак путешествовать! Эх, если б только мне удалось допрыгнуть до неба, а тело пусть бы лежало здесь, на ступеньках".

Есть вещи, о которых вообще нужно говорить очень осторожно, особенно если на ногах у тебя калоши счастья! Вот послушайте, что произошло со сторожем.

Мы с вами наверняка ездили на поезде или на пароходе, которые шли на всех парах. Но по сравнению со скоростью света их скорость все равно что скорость ленивца или улитки. Свет бежит в девятнадцать миллионов раз быстрее самого лучшего скорохода, но не быстрее электричества. Смерть – это электрический удар в сердце, и на крыльях электричества освобожденная душа улетает из тела. Солнечный луч пробегает двадцать миллионов миль всего за восемь минут с секундами, но душа еще быстрее, чем свет, покрывает огромные пространства, разделяющие звезды.

Для нашей души пролететь расстояние между двумя небесными светилами так же просто, как нам самим дойти до соседнего дома. Но электрический удар в сердце может стоить нам жизни, если на ногах у нас нет таких калош счастья, какие были у сторожа.

В несколько секунд ночной сторож пролетел пространство в пятьдесят две тысячи миль, отделяющее землю от луны, которая, как известно, состоит из вещества гораздо более легкого, чем наша земля, и она примерно такая же мягкая, как только что выпавшая пороша.

Сторож очутился на одной из тех бесчисленных лунных кольцевых гор, которые известны нам по большим лунным картам доктора Мэдлера. Ведь ты тоже видел их, не правда ли? В горе образовался кратер, стенки которого почти отвесно обрывались вниз на целую датскую милю, а на самом дне кратера находился город. Город этот напоминал яичный белок, выпущенный в стакан воды, – такими прозрачными и легкими казались его башни, купола и парусообразные балконы, слабо колыхавшиеся в разреженном воздухе луны. А над головой сторожа величественно плыл огромный огненно-красный шар – наша земля.

На луне было множество живых существ, которых мы бы назвали людьми, если б они не так сильно отличались от нас и по своей внешности и по языку. Трудно было ожидать, чтобы душа сторожа понимала этот язык, – однако она прекрасно его понимала.

Да, да, можете удивляться, сколько хотите, но душа сторожа сразу научилась языку жителей луны. Чаще всего они спорили о нашей земле. Они очень и очень сомневались в том, что на земле есть жизнь, ибо воздух там, говорили они, слишком плотный, и разумное лунное создание не могло бы им дышать. Они утверждали далее, что жизнь возможна только на луне – единственной планете, где уже давным-давно зародилась жизнь.

Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что случилось с телом сторожа.

Безжизненное, оно по-прежнему сидело на ступеньках; палка со звездой на конце, – у нас ее прозвали "утренней звездой", – выпала из рук, а глаза уставились на луну, по которой сейчас путешествовала душа сторожа.

– Эй, сторож, который час? – спросил какой-то прохожий; не дождавшись ответа, он слегка щелкнул сторожа по носу. Тело потеряло равновесие и во всю длину растянулось на тротуаре.

Решив, что сторож умер, прохожий пришел в ужас, а мертвый так и остался мертвым. Об этом сообщили куда следует, и утром тело отвезли в больницу.

Вот заварилась бы каша, если бы душа вернулась и, как и следовало ожидать, принялась бы искать свое тело там, где рассталась с ним, то есть на Восточной улице. Обнаружив пропажу, она скорее всего сразу же кинулась бы в полицию, в адресный стол, оттуда в бюро по розыску вещей, чтобы дать объявление о пропаже в газете, и лишь в последнюю очередь отправилась бы в больницу. Впрочем, о душе беспокоиться нечего – когда она действует самостоятельно, все идет прекрасно, и лишь тело мешает ей и заставляет ее делать глупости.

Так вот, когда сторожа доставили в больницу и внесли в мертвецкую, с него первым долгом, конечно, сняли калоши, и душе волей-неволей пришлось прервать свое путешествие и возвратиться в тело. Она сразу же отыскала его, и сторож немедленно ожил. Потом он уверял, что это была самая бредовая ночь в его жизни. Он даже за две марки не согласился бы вновь пережить все эти ужасы. Впрочем, теперь все это позади.

Сторожа выписали в тот же день, а калоши остались в больнице.

4. "Головоломка". Декламация. Совершенно необычайное путешествие

Каждый житель Копенгагена много раз видел главный вход в городскую фредериксбергскую больницу, но так как эту историю, возможно, будут читать не только копенгагенцы, нам придется дать кое-какие разъяснения.

Дело в том, что больницу отделяет от улицы довольно высокая решетка из толстых железных прутьев. Прутья эти расставлены так редко, что многие практиканты, если только они худошавы, ухитряются протиснуться между ними, когда в неурочный час хотят выбраться в город. Труднее всего им просунуть голову, так что и в этом случае, как, впрочем, нередко бывает в жизни, большеголовым приходилось труднее всего... Ну, для вступления об этом хватит.

В этот вечер в больнице как раз дежурил один молодой медик, о котором хоть и можно было сказать, что "голова у него большая", но... лишь в самом прямом смысле этого слова. Шел проливной дождь; однако, невзирая на непогоду и дежурство, медик все-таки решил сбегать в город по каким-то неотложным делам, – хотя бы на четверть часика. "Незачем, – думал он, – связываться с привратником, если можно легко пролезть сквозь решетку". В вестибюле все еще валялись калоши, забытые сторожем. В такой ливень они были очень кстати, и медик надел их, не догадываясь, что это калоши счастья. Теперь осталось только протиснуться между железными прутьями, чего ему ни разу не приходилось делать.

– Господи, только бы просунуть голову, – промолвил он.

И в тот же миг голова его, хотя и очень большая, благополучно проскочила между прутьями, – не без помощи калош, разумеется.

Теперь дело было за туловищем, но ему никак не удавалось пролезть.

– Ух, какой я толстый! – сказал студент. – А я-то думал, что голову просунуть всего труднее будет. Нет, не пролезть мне!

Он хотел было сразу же втянуть голову обратно, но не тут-то было: она застряла безнадежно, он мог лишь крутить ею сколько угодно и без всякого толка. Сначала медик просто рассердился, но вскоре настроение его испортилось вконец; калоши поставили его прямо-таки в

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

жуткое положение.

К несчастью, он никак не догадывался, что надо пожелать освободиться, и сколько ни вертел головой, она не пролезала обратно. Дождь все лил и лил, и на улице ни души не было. До звонка к дворнику все равно никак было не дотянуться, а сам освободиться он не мог. Он думал, что, чего доброго, придется простоять так до утра: ведь только утром можно будет послать за кузнецом, чтобы он перепилил решетку. И вряд ли удастся перепилить ее быстро, а на шум сбегутся школьники, все окрестные жители, – да, да, сбегутся и будут глазеть на медика, который скорчился, как преступник у позорного столба; глазеть, как в прошлом году на огромную агаву, когда она расцвела.

– Ой, кровь так и приливает к голове. Нет, я так с ума сойду! Да, да, сойду с ума! Ох, только бы мне освободиться!

Давно уже нужно было медику сказать это: в ту же минуту голова его освободилась, и он стремглав кинулся назад, совершенно обезумев от страха, в который повергли его калоши счастья.

Но если вы думаете, что этим дело и кончилось, то глубоко ошибаетесь. Нет, самое худшее еще впереди.

Прошла ночь, наступил следующий день, а за калошами все никто не являлся.

Вечером в маленьком театре, расположенном на улице Каннике, давали представление. Зрительный зал был полон. В числе других артистов один чтец декламировал стихотворение под названием "Бабушкины очки":

У бабушки моей был дар такой,
Что раньше бы сожгли ее живой.
Ведь ей известно все и даже более:
Грядущее узнать – в ее то было воле,
В сороковые проникала взором,
Но просьба рассказать всегда кончалась спором.
"Скажи мне, говорю, грядущий год,
Какие нам события принесет?
И что произойдет в искусстве, в государстве?"
Но бабушка, искусная в коварстве,
Молчит упрямо, и в ответ ни слова.
И разбранить меня подчас готова.
Но как ей устоять, где взять ей сил?
Ведь я ее любимцем был.
"По-твоему пусть будет в этот раз, –
Сказала бабушка и мне тотчас
Очки свои дала. – Иди-ка ты туда,
Где собирается народ всегда,
Надень очки, поближе подойди
И на толпу людскую погляди.
В колоду карт вдруг обратятся люди.
По картам ты поймешь, что было и что будет".
Сказав спасибо, я ушел проворно.
Но где найти толпу? На площади, бесспорно.
На площади? Но не люблю я стужи.
На улице? Там всюду грязь да лужи.
А не в театре ли? Что ж, мысль на славу!
Вот где я встречу целую ораву.
И наконец я здесь! Мне стоит лишь очки достать,
И стану я оракулу под стать.
А вы сидите тихо по местам:
Ведь картами казаться надо вам,
Чтоб будущее было видно ясно.
Молчанье ваше – знак, что вы согласны.
Сейчас судьбу я расспрошу, и не напрасно,
Для пользы собственной и для народа.
Итак, что скажет карт живых колода.
(Надевает очки.)
Что вижу я! Ну и потеха!
Вы, право, лопнули б от смеха,
Когда увидели бы всех тузов бубновых,
И нежных дам, и королей суровых!
Все пики, трефы здесь чернее снов дурных.
Посмотрим же как следует на них.
Та дама пик известна знаньем света –
И вот влюбилась вдруг в бубнового валета.
А эти карты что нам предвещают?
Для дома много денег обещают
И гостя из далекой стороны,
А впрочем, гости вряд ли нам нужны.
Беседу вы хотели бы начать
С сословий? Лучше помолчать!
А вам я дам один благой совет:
Вы хлеб не отбирайте у газет.
Иль о театрах? Закулисных тренях?
Ну нет! С дирекцией не порчу отношения.
О будущем моем? Но ведь известно:
Плохое знать совсем неинтересно.
Я знаю все – какой в том прок:
Узнаете и вы, когда наступит срок!
Что, что? Кто всех счастливей среди вас?
Ага! Счастливца я найду сейчас...
Его свободно можно б отличить,
Да остальных пришлось бы огорчить!
Кто дольше проживет? Ах, он? Прекрасно!
Но говорить на сей сюжет опасно.
Сказать? Сказать? Сказать иль нет?
Нет, не скажу – вот мой ответ!
Боюсь, что оскорбить могу я вас,
Уж лучше мысли ваши я прочту сейчас,
Всю силу волшебства признав тотчас.
Угодно вам узнать? Скажу себе в укор:
Вам кажется, что я, с каких уж пор,
Болтаю перед вами вздор.
Тогда молчу, вы правы, без сомненья,
Теперь я сам хочу услышать ваше мнение.

Декламировал чтец превосходно, в зале загремели аплодисменты.

Среди публики находился и наш злосчастный медик. Он, казалось, уже забыл свои злключения, пережитые прошлой ночью.

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

Отправляясь в театр, он опять надел калоши, – их пока никто не востребовал, а на улице была слякоть, так что они могли сослужить ему хорошую службу. И сослужили!

Стихи произвели большое впечатление на нашего медика. Ему очень понравилась их идея, и он подумал, что хорошо бы раздобыть такие очки. Немного наострившись, можно было бы научиться читать в сердцах людей, а это гораздо интереснее, чем заглядывать в будущий год, – ведь он все равно наступит рано или поздно, а вот в душу к человеку иначе не заглянешь.

"Взять бы, скажем, зрителей первого ряда, – думал медик, – и посмотреть, что делается у них в сердце, – должен же туда вести какой-то вход, вроде как в магазин. Чего бы я там ни насмотрелся, надо полагать! У этой вот дамы в сердце, наверное, помещается целый галантерейный магазин. А у этой уже опустел, только надо бы его как следует помыть да почистить. Есть среди них и солидные магазины. Ах, – вздохнул медик, – знаю я один такой магазин, но, увы, приказчик для него уже нашелся, и это единственный его недостаток. А из многих других, наверное, зазывали бы: "Заходите, пожалуйста, к нам, милости просим!" Да, вот зайти бы туда в виде крошечной мысли, прогуляться бы по сердцам!"

Сказано – сделано! Только пожелай – вот все, что надо калошам счастья. Медик вдруг весь как-то съезжился, стал совсем крохотным и начал свое необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда.

Первое сердце, в которое он попал, принадлежало одной даме, но бедняга медик сначала подумал, что очутился в ортопедическом институте, где врачи лечат больных, удаляя различные опухоли и выправляя уродства. В комнате, куда вошел наш медик, были развешаны многочисленные гипсовые слепки с этих уродливых частей тела. Вся разница только в том, что в настоящем институте слепки снимаются, как только больной туда поступает, а в этом сердце они изготавливались тогда, когда из него выписывался здоровый человек.

Среди прочих в сердце этой дамы хранились слепки, снятые с физических и нравственных уродств всех ее подруг.

Так как слишком задерживаться не полагалось, то медик быстро переключался в другое женское сердце, – и на этот раз ему показалось, что он вступил в светлый обширный храм. Над алтарем парил белый голубь – олицетворение невинности. Медик хотел было преклонить колена, но ему нужно было спешить дальше, в следующее сердце, и только в ушах его еще долго звучала музыка органа. Он даже почувствовал, что стал лучше и чище, чем был раньше, и достоин теперь войти в следующее святилище, оказавшееся жалкой каморкой, где лежала больная мать. Но в открытые настежь окна лились теплые солнечные лучи, чудесные розы, расцветшие в ящике под окном, качали головками, кивая больной, две небесно-голубые птички пели песенку о детских радостях, а больная мать просила счастья для своей дочери.

Потом наш медик на четвереньках переполз в мясную лавку; она была завалена мясом, – и куда бы он ни сунулся, всюду натыкался на туши. Это было сердце одного богатого, всеми уважаемого человека, – его имя, наверно, можно найти в справочнике по городу.

Оттуда медик переключался в сердце его супруги. Оно представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен над ней вместо флюгера; к ней же была прикреплена входная дверь, которая то открывалась, то закрывалась – в зависимости от того, куда поворачивался супруг.

Потом медик попал в комнату с зеркальными стенами, такую же, как во дворце Розенбург, но зеркала здесь были увеличительные, они все увеличивали во много раз. Посреди комнаты восседало на троне маленькое "я" обладателя сердца и восхищалось своим собственным величием.

Оттуда медик перебрался в другое сердце, и ему показалось, что он попал в узкий игольник, набитый острыми иголками. Он быстро решил, что это сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся: оно принадлежало награжденному множеством орденов молодому военному, о котором говорили, что он "человек с сердцем и умом".

Наконец бедный медик выбрался из последнего сердца и, совершенно ошалев, еще долго никак не мог собраться с мыслями. Во всем он винул свою разыгравшуюся фантазию.

"Бог знает что такое! – вздохнул он. – Нет, я определенно схожу с ума. И какая дикая здесь жара! Кровь так и приливает к голове. – Тут он вспомнил о своих вчерашних злоключениях у больничной ограды. – Вот когда я заболел! – подумал он. – Нужно вовремя взяться за лечение. Говорят, что в таких случаях всего полезнее русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке".

И он действительно очутился в бане на самом верхнем полке, но лежал там совсем одетый, в сапогах и калошах, а с потолка на лицо ему капала горячая вода.

– Ой! – закричал медик и побежал скорее принять душ.

Банщик тоже закричал: он испугался, увидев в бане одетого человека.

Наш медик, не растерявшись, шепнул ему:

– Не бойся, это я на пари, – но, вернувшись домой, первым делом поставил себе один большой пластырь из шпанских мушек на шею, а другой на спину, чтобы вытянуть дурь из головы.

Наутро вся спина у него набухла кровью – вот и все, чем его благодетельствовали калоши счастья.

5. Превращение полицейского писаря

Наш знакомый сторож между тем вспомнил про калоши, которые нашел на улице, а потом оставил в больнице, и забрал их оттуда. Но ни лейтенант, ни соседи не признали этих калош своими, и сторож отнес их в полицию.

– Да они как две капли воды похожи на мои! – сказал один из полицейских писарей, поставив находку рядом со своими калошами и внимательно ее рассматривая. – Тут и опытный взгляд сапожника не отличил бы одну пару от другой.

– Господин писарь, – обратился к нему полицейский, вошедший с какими-то бумагами.

Писарь поговорил с ним, а когда опять взглянул на обе пары калош, то уж и сам перестал понимать, которая из них его пара – та ли, что стоит справа, или та, что слева.

"Мои, должно быть, вот эти, мокрые", – подумал он и ошибся: это были как раз калоши счастья. Что ж, полиция тоже иногда ошибается.

Писарь надел калоши и, сунув одни бумаги в карман, а другие – под мышку (ему нужно было кое-что перечитать и переписать дома), вышел на улицу. День был воскресный, стояла чудесная погода, и полицейский писарь подумал, что неплохо было бы прогуляться по Фредериксбергу.

Молодой человек отличался редким прилежанием и усидчивостью, так что пожелаем ему приятной прогулки после многих часов работы в душной канцелярии.

Сначала он шел, ни о чем не думая, и калошам поэтому все не представлялось удобного случая проявить свою чудодейственную силу.

Но вот он повстречал в одной аллее своего знакомого молодого поэта, и тот сказал, что завтра отправляется путешествовать на все лето.

– Эх, вот вы опять уезжаете, а мы остаемся, – сказал писарь. – Счастливые люди, летаете себе, где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах.

– Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву, – возразил поэт. – Вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию.

– Так-то так, но вам все-таки живется гораздо привольнее, – сказал писарь. – Писать стихи – что может быть лучше! Публика носит вас на руках, и вы сами себе господа. А вот попробовали бы вы посидеть в суде, как мы сидим, да повозиться с этими скучнейшими делами!

Поэт покачал головой, писарь тоже покачал головой, и они разошлись в разные стороны, оставшись каждый при своем мнении.

"Удивительный народ эти поэты, – думал молодой чиновник. – Хотелось бы поближе познакомиться с такими натурами, как он, и самому стать поэтом. Будь я на их месте, я бы в своих стихах не стал хныкать. Ах, какой сегодня чудесный весенний день, сколько в нем красоты, свежести, поэзии! Какой необыкновенно прозрачный воздух! Какие причудливые облака! А трава и листья так сладостно благоухают! Давно уже я так остро не ощущал этого, как сейчас".

Вы, конечно, заметили, что он уже стал поэтом. Но внешне совсем не изменился, – нелепо думать, что поэт не такой же человек, как все прочие. Среди простых людей часто встречаются натуры гораздо более поэтические, чем многие прославленные поэты. Только у поэтов гораздо лучше развита память, и все идеи, образы, впечатления хранятся в ней до тех пор, пока не найдут своего поэтического выражения на бумаге. Когда простой человек становится поэтически одаренной натурой, происходит своего рода превращение, – и такое именно превращение произошло с писарем.

"Какое восхитительное благоухание! – думал он. – Оно напоминает мне фиалки у тетушки Лоны. Да, я был тогда еще совсем маленьким. Господи, и как это я ни разу не вспомнил о ней раньше! Добрая старая тетушка! Она жила как раз за Биржей. Всегда, даже в самую лютую стужу, на окнах у нее зеленели в банках какие-нибудь веточки или росточки, фиалки наполняли комнату ароматом; а я прикладывал нагретые медяки к оледенелым стеклам, чтобы можно было смотреть на улицу. Какой вид открывался из этих окон! На канале стояли вмержшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. Но с наступлением весны суда преображались. С песнями и криками "ура" матросы обкалывали лед; корабли смолили, оснащали всем необходимым, и они наконец уплывали в заморские страны. Они-то уплывают, а я вот остаюсь здесь; и так будет всегда; всегда я буду сидеть в полицейской канцелярии и смотреть, как другие получают заграничные паспорта. Да, таков мой удел!" – и он глубоко-глубоко вздохнул, но потом вдруг опомнился: "Что это такое со мной делается сегодня? Раньше мне ничего подобного и в голову не приходило. Верно, это весенний воздух так на меня действует. А сердце

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

сжимается от какого-то сладостного волнения".

Он полез в карман за своими бумагами. "Возьмусь за них, буду думать о чем-нибудь другом", – решил он и пробежал глазами первый попавшийся лист бумаги. "Фру Зигбрит", оригинальная трагедия в пяти действиях", – прочитал он. "Что такое? Странно, почерк мой! Неужели это я написал трагедию? А это еще что? "Интрига на валу, или Большой праздник; водевиль". Но откуда все это у меня? Наверное, кто-нибудь подсунул. Да, тут еще письмо..."

Письмо прислала дирекция одного театра; она не очень вежливо извещала автора, что обе его пьесы никуда не годятся.

– Гм, – произнес писарь, усаживаясь на скамейку.

В голову его вдруг хлынуло множество мыслей, а сердце исполнилось неизъяснимой нежности... к чему – он и сам не знал. Машинально он сорвал цветок и залюбовался им. Это была простая маленькая маргаритка, но она в течение одной минуты сообщила ему о себе больше, чем можно узнать, выслушав несколько лекций по ботанике. Она рассказала ему предание о своем рождении, рассказала о том, как могуч солнечный свет, – ведь это благодаря ему распустились и стали благоухать ее нежные лепестки. А поэт в это время думал о суровой жизненной борьбе, пробуждающей в человеке еще неведомые ему силы и чувства. Воздух и свет – возлюбленные маргаритки, но свет – ее главный покровитель, перед ним она благоговеет; а когда он уходит вечером, она засыпает в объятиях воздуха.

– Свет одарил меня красотой! – сказала маргаритка.

– А воздух дает тебе жизнь! – шепнул ей поэт.

Неподалеку стоял мальчуган и хлопал палкой по воде в грязной канавке – брызги разлетались в разные стороны, и писарь задумался вдруг о тех миллионах живых, невидимых простым глазом существ, которые взлетают вместе с водяными каплями на огромную, по сравнению с их собственными размерами, высоту, – вот как если бы мы, например, очутились над облаками. Размышляя об этом, а также о своем превращении, наш писарь улыбнулся: "Я просто сплю и вижу сон. Но какой это все-таки удивительный сон! Оказывается, можно грезить наяву, сознавая, что это тебе только снится. Хорошо бы вспомнить обо всем этом завтра утром, когда я проснусь. Какое странное состояние! Сейчас я все вижу так четко, так ясно, чувствую себя таким бодрым и сильным – и в то же время хорошо знаю, что если утром попытаюсь что-нибудь припомнить, в голову мне полезет только чепуха. Сколько раз это бывало со мной! Все эти чудесные вещи похожи на золото гномов: ночью, когда их получаешь, они кажутся драгоценными камнями, а днем превращаются в кучу щебня и увядших листьев".

Вконец расстроенный писарь, грустно вздыхал, поглядывая на птичек, которые весело распевали свои песенки, перепархивая с ветки на ветку.

"И им живется лучше, чем мне. Уметь летать – какая чудесная способность! Счастлив тот, кто ею одарен. Если бы только я мог превратиться в птичку, я бы стал вот таким маленьким жаворонком!"

И в ту же минуту рукава и фалды его сюртука превратились в крылья и обросли перьями, а вместо калош появились коготки. Он сразу заметил все эти превращения и улыбнулся. "Ну, теперь я вижу, что это сон. Но таких дурацких снов мне еще не приходилось видеть", – подумал он, взлетел на зеленую ветку и запел.

Однако в его пении уже не было поэзии, так как он перестал быть поэтом: калоши, как и все, кто хочет чего-нибудь добиться, выполняли только одно дело зараз. Захотел писарь стать поэтом – стал, захотел превратиться в птичку – превратился, но зато утратил свои прежние свойства.

"Забавно, нечего сказать! – подумал он. – Днем я сижу в полицейской канцелярии, занимаюсь важнейшими делами, а ночью мне снится, что я жаворонком летаю по Фредериксбергскому парку. Да об этом, черт возьми, можно написать целую народную комедию!"

И он слетел на траву, завертел головой и принялся весело клевать гибкие травинки, казавшиеся ему теперь огромными африканскими пальмами.

Внезапно вокруг него стало темно, как ночью; ему почудилось, будто на него набросили какое-то гигантское одеяло! На самом же деле это мальчик из слободки накрыл его своей шапкой. Мальчик запустил руку под шапку и схватил писаря за спинку и крылья; тот сначала запищал от страха, потом вдруг возмутился:

– Ах ты негодный щенок! Как ты смеешь! Я полицейский писарь!

Но мальчишка услышал только жалобное "пи-и, пи-и-и". Он щелкнул птичку по клюву и пошел с нею дальше, на горку.

По дороге он встретил двух школьников; оба они были в высшем классе – по своему положению в обществе, и в низшем – по умственному развитию и успехам в науках. Они купили жаворонка за восемь скиллингов. Таким образом полицейский писарь вернулся в город и оказался в одной квартире на Готской улице.

– Черт поberi, хорошо, что это сон, – сказал писарь, – а не то я бы здорово рассердился! Сначала я стал поэтом, потом – жаворонком. И ведь это моя поэтическая натура внушила мне желание превратиться в такую малютку. Однако невеселая это жизнь, особенно когда попадешь в лапы к подобным сорванцам. Хотел бы я узнать, чем все это кончится?

Мальчики принесли его в красиво обставленную комнату, где их встретила толстая улыбающаяся женщина. Она ничуть не обрадовалась "простой полевой птичке", как она назвала жаворонка, тем не менее разрешила мальчикам оставить его и посадить в клетку на подоконнике.

– Быть может, он немного развлечет попочку! – добавила она и с улыбкой взглянула на большого зеленого попугая, который важно покачивался на кольце в роскошной металлической клетке. – Сегодня у попочки день рождения, – сказала она, глупо улыбаясь, – и полевая птичка хочет его поздравить.

Попугай, ничего на это не ответив, все так же важно раскачивался взад и вперед. В это время громко запела красивая канарейка, которую сюда привезли прошлым летом из теплой и благоухающей родной страны.

– Ишь, крикунья! – сказала хозяйка и набросила на клетку белый носовой платок.

– Пи-пи! Какая ужасная метель! – вздохнула канарейка и умолкла. Писаря, которого хозяйка называла "полевой птичкой", посадили в маленькую клетку, рядом с клеткой канарейки и по соседству с попугаем. Попугай мог внятно выговаривать только одну фразу, нередко звучавшую очень комично: "Нет, будем людьми!", а все остальное получалось у него столь же невразумительным, как щебет канарейки. Впрочем, писарь, превратившись в птичку, отлично понимал своих новых знакомых.

– Я порхала над зеленой пальмой и цветущим миндальным деревом, – пела канарейка, – вместе с братьями и сестрами я летала над чудесными цветами и зеркальной гладью озер, и нам приветливо кивали отражения прибрежных растений. Я видела стаи красивых попугаев, которые рассказывали множество чудеснейших историй.

– Это дикие птицы, – отозвался попугай, – не получившие никакого образования. Нет, будем людьми! Что же ты не смеешься, глупая птица? Если этой остроте смеется и сама хозяйка и ее гости, так почему бы не посмеяться и тебе? Не оценить хороших острот – это очень большой порок, должен вам сказать. Нет, будем людьми!

– А ты помнишь красивых девушек, что плясали под сенью цветущих деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких растений?

– Конечно, помню, – отвечал попугай, – но здесь мне гораздо лучше! Меня прекрасно кормят и всячески ублажают. Я знаю, что я умен, и с меня довольно. Нет, будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая натура, а я сведущ в науках и остроумен. В тебе есть эта самая гениальность, но не хватает рассудительности. Ты метишь слишком высоко, поэтому люди тебя осаживают. Со мной они так поступать не станут, потому что я обошелся им дорого. Я внушаю уважение уже одним своим клювом, а болтовней своей могу кого угодно поставить на место. Нет, будем людьми!

– О моя теплая, цветущая родина, – пела канарейка, – я буду петь о твоих темно-зеленых деревьях, чьи ветви целуют прозрачные воды тихих заливов, о светлой радости моих братьев и сестер, о вечнозеленых хранителях влаги в пустыне – кактусах.

– Перестань хныкать! – проговорил попугай. – Скажи лучше что-нибудь смешное. Смех – это знак высшей степени духовного развития. Вот разве могут, к примеру, смеяться собака или лошадь? Нет, они могут только плакать, а способностью смеяться одарен лишь человек. Ха-ха-ха! – расхохотался попочка и окончательно сразил собеседников своим "нет, будем людьми!"

– И ты, маленькая серая датская птичка, – сказала канарейка жаворонку, – ты тоже стала пленницей. В твоих лесах, наверное, холодно, но зато в них ты свободна. Лети же отсюда! Смотри, они забыли запереть твою клетку! Форточка открыта, лети же – скорей, скорей!

Писарь так и сделал, вылетел из клетки и уселся возле нее. В этот миг дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге появилась кошка, гибкая, страшная, с зелеными горящими глазами. Кошка уже совсем было приготовилась к прыжку, но канарейка заметалась в клетке, а попугай захлопал крыльями и закричал: "Нет, будем людьми!" Писарь похолодел от ужаса и, вылетев в окно, полетел над домами и улицами. Летел, летел, наконец устал, – и вот увидел дом, который показался ему знакомым. Одно окно в доме было открыто. Писарь влетел в комнату и уселся на стол. К своему изумлению, он увидел, что это его собственная комната.

"Нет, будем людьми!" – машинально повторил он излюбленную фразу попугая и в ту же минуту вновь стал полицейским писарем, только зачем-то усевшимся на стол.

– Господи помилуй, – сказал писарь, – как это я попал на стол, да еще заснул? И какой дикий сон мне приснился. Какая чепуха!

Сказка загружена с сайта allskazki.ru для ознакомительных целей

6. Лучшее, что сделали калоши

На другой день рано утром, когда писарь еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел его сосед, снимавший комнату на том же этаже, – молодой студент–богослов.

– Одолжи мне, пожалуйста, свои калоши, – сказал он. – Хоть в саду и сыро, да больно уж ярко светит солнышко. Хочу туда сойти выкурить трубочку.

Он надел калоши и вышел в сад, в котором росло только два дерева – слива и груша; впрочем, даже столь скудная растительность в Копенгагене большая редкость.

Студент прохаживался взад и вперед по дорожке. Время было раннее, всего шесть часов утра. На улице заиграл рожок почтового дилижанса.

– О, путешествовать, путешествовать! – вырвалось у него. – Что может быть лучше! Это предел всех моих мечтаний. Если бы они осуществились, я бы тогда, наверное, уgomонился и перестал метаться. Как хочется ехать подальше отсюда, увидеть волшебную Швейцарию, поездить по Италии!

Хорошо еще, что калоши счастья выполняли желания немедленно, а то бы студент, пожалуй, забрался слишком далеко и для себя самого и для нас с вами. В тот же миг он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в почтовый дилижанс вместе с восемью другими пассажирами. Голова у него трещала, шею ломило, ноги затекли и болели, потому что сапоги жали немилосердно. Он не спал и не бодрствовал, но был в состоянии какого–то мучительного оцепенения. В правом кармане у него лежал аккредитив, в левом паспорт, а в кожаном мешочке на груди было зашито несколько золотых. Стоило нашему путешественнику клонуть носом, как ему тут же начинало мерещиться, что он уже потерял какое–нибудь из своих сокровищ, и тогда его бросало в дрожь, а рука его судорожно описывала треугольник – справа налево и на грудь, – чтобы проверить, все ли цело. В сетке над головами пассажиров болтались зонтики, палки, шляпы, и все это мешало студенту наслаждаться прекрасным горным пейзажем. Но он все смотрел, смотрел и не мог насмотреться, а в сердце его звучали строки стихотворения, которое написал, хотя и не стал печатать, один известный нам швейцарский поэт:

Прекрасный край! Передо мной
Монблан белеет вдалеке.
Здесь был бы, право, рай земной,
Будь больше денег в кошельке.

Природа здесь была мрачная, суровая и величественная. Хвойные леса, покрывавшие заоблачные горные вершины, издали казались просто зарослями вереска. Пошел снег, подул резкий, холодный ветер.

– Ух! – вздохнул студент. – Если бы мы уже были по ту сторону Альп! Там теперь наступило лето, и я наконец получил бы по аккредитиву свои деньги. Я так за них боюсь, что все эти альпийские красоты перестали меня пленять. Ах, если б я уже был там!

И он немедленно очутился в самом сердце Италии, где–то на дороге между Флоренцией и Римом. Последние лучи солнца озаряли лежащие между двумя темно–синими холмами Тразименское озеро, превращая его воды в расплавленное золото. Там, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, теперь виноградные лозы мирно обвивали друг друга своими зелеными плетями. У дороги, под сенью благоухающих лавров, прелестные полуголые ребятишки пасли стадо черных как смоль свиней. Да, если бы описать эту картину как следует, все бы только и твердили: "Ах, восхитительная Италия!" Но, как ни странно, ни богослов, ни его спутники этого не думали. Тысячи ядовитых мух и комаров тучами носились в воздухе; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые все равно кусали и жалили их. В карете не было человека, у которого не распухло бы все лицо, искусанное в кровь. У лошадей был еще более несчастный вид: бедных животных сплошь облепили огромные рои насекомых, так что кучер время от времени слезал с козел и отгонял от лошадей их мучителей, но уже спустя мгновение налетали новые полчища. Скоро зашло солнце, и путешественников охватил пронизывающий холод – правда, ненадолго, но все равно это было не слишком приятно. Зато вершины гор и облака окрасились в непередаваемо красивые зеленые тона, отливающие блеском последних солнечных лучей. Эта игра красок не поддается описанию, ее нужно видеть. Зрелище изумительное, все с этим согласилось, но в желудке у каждого было пусто, тело устало, душа жаждала приюта на ночь, а где его найти? Теперь все эти вопросы занимали путешественников гораздо больше, чем красоты природы.

Дорога проходила через оливковую рощу, и казалось, что едешь где–нибудь на родине, между родными узловатыми ивами. Вскоре карета подъехала к одинокой гостинице. У ворот ее сидело множество нищих–калек, и самый бодрый из них казался "достигшим зрелости старшим сыном голода". Одни калеки ослепли; у других высохли ноги – эти ползали на руках; у третьих на изуродованных руках не было пальцев. Казалось, сама нищета тянулась к путникам из этой кучи тряпья и лохмотьев. "Eccelenza, miserabili!" (господин, помогите несчастным! (итал.)) – хрипели они, показывая свои уродливые конечности. Путешественников встретила хозяйка гостиницы, босая, нечесанная, в грязной кофте. Двери в комнатах держались на веревках, под потолком порхали летучие мыши, кирпичный пол был весь в выбоинах, а вонь стояла такая, что хоть топор вешай...

– Лучше уж пусть она накроет нам стол в конюшне, – сказал кто–то из путешественников. – Там по крайней мере знаешь, чем дышишь.

Открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, но тут в комнату протянулись высохшие руки и послышалось извечное вытье: "Eccelenza, miserabili!"

Стены комнаты были сплошь исписаны, и половина надписей ругательски ругала "прекрасную Италию".

Принесли обед: водянистый суп с перцем и прогорклым оливковым маслом, потом приправленный таким же маслом салат и, наконец, несвежие яйца и жареные петушиные гребешки – в качестве украшения пиршества; даже вино казалось не вином, а какой–то микстурой.

На ночь дверь забаррикадировали чемоданами, и одному путешественнику поручили стоять на часах, а остальные уснули. Часовым был студент–богослов. Ну и духота стояла в комнате! Жара нестерпимая, комары, – а тут еще "miserabili", которые стонали во сне, мешая уснуть.

– Да, путешествовать, конечно, было бы не плохо, – вздохнул студент, – не будь у нас тела. Пусть бы оно лежало себе да отдыхало, а дух летал бы где ему угодно. А то, куда бы я ни приехал, всюду тоска гложет мне сердце. Хотелось бы чего–то большего, чем мгновенная радость бытия. Да, да, большего, наивысшего! Но где оно? В чем? Что это такое? Нет, я же знаю, к чему стремлюсь, чего хочу. Я хочу прийти к конечной и счастливейшей цели земного бытия, самой счастливой из всех!

И только он произнес последние слова, как очутился у себя дома. На окнах висели длинные белые занавески, посреди комнаты на полу стоял черный гроб, а в нем смертным сном спал богослов. Его желание исполнилось: тело его отдыхало, а душа странствовала.

"Никого нельзя назвать счастливым раньше, чем он умрет", – сказал Солон; и теперь его слова снова подтвердились.

Каждый умерший – это сфинкс, неразрешимая загадка. И этот "сфинкс" в черном гробу уже не мог ответить нам на тот вопрос, какой он сам себе задавал за два дня до смерти.

О злая смерть! Ты всюду сеешь страх,
Твой след – одни могилы да моленья.
Так что ж, и мысль повергнута во прах?
А я ничтожная добыча тленья?
Что стонов хор для мира суеты!
Ты одиноким весь свой век прожил,
И жребий твой был тяжелей плиты,
Что на твою могилу кто–то положил.

В комнате появились две женщины. Мы их знаем: то была фея Печали и вестница Счастья, и они склонились над умершим.

– Ну, – спросила Печаль, – много счастья принесли человечеству твои калоши?

– Что ж, тому, кто лежит здесь, они по крайней мере дали вечное блаженство! – ответила фея Счастья.

– О нет, – сказала Печаль. – Он сам ушел из мира раньше своего срока. Он еще не настолько окреп духовно, чтобы овладеть теми сокровищами, которыми должен был овладеть по самому своему предназначению. Ну, я окажу ему благодеяние! – И она стащила калоши со студента.

Смертный сон прервался. Мертвец воскрес и встал. Фея Печали исчезла, а с ней и калоши. Должно быть, она решила, что теперь они должны принадлежать ей.

Другие сказки Андерсена